

27.03.1984

Я хотел бы начать с некоторого предупреждения. Оно касается стиля не моих лекций, а стиля видения или мышления, которое я пытаюсь выявить. Вы уже поняли, наверное, что моя задача состоит не в том, чтобы рассказывать про эстетику и описывать литературные красоты, а в том, чтобы выявить стиль мышления человека, который проделал опыт (по материи своей не отличающийся от того, что мы можем испытать, — он отличается лишь тем, что проделан и записан; мы можем испытать и не понять, а вот другой человек понял и записал, и поэтому интересно обратиться к этому опыту), и внутри этого опыта работает некий способ мысли, который я и хочу выделить, поскольку он является частью того, какую фигуру, какой рисунок или какой контур принимает сама жизнь человека, который приобщился к такому видению. Само это видение как-то меняет жизнь, судьбу. Я потом еще буду говорить о том, что само ощущение судьбы и само представление судьбы — очень важный элемент нашей сознательной жизни. Для начала скажу так, очень резко, что именно в той мере мы являемся людьми, в какой мере мы — люди судьбы. То есть, если мы живем в судьбе, мы — люди, а если мы живем вне судьбы, а чаще всего это именно так, то мы полуживотные, или, как выражался Пруст, «*demi-esprits*»¹, то есть полудухи (все есть — и мышление, и чувства, — но наполовину).

Когда я говорю о таком стиле, я пытаюсь дать почувствовать основной внутренней стержень этого стиля, а именно смотреть на мир, на события в нем так, чтобы видеть вещи не как некие самодостаточные детали (то, что Пруст называет деталями), а видеть то, что видишь как элемент фигуры или закона, требующий

¹ III (T.R.) — p. 894 — (6:OB:213) — Так и сменяли одна другую партии и школы, привлекая одних и тех же людей, обладающих не слишком высоким интеллектом, вечно обреченных на восторженное поклонение, от чего воздерживаются люди более взыскательные, более склонные к критическому мышлению. К несчастью, как раз именно потому, что те, первые, обладают в каком-то смысле умом неполноценным

[*demi-esprits*], недостаток разума им приходится компенсировать сверхактивностью, они гораздо энергичнее, чем утонченные умы, они привлекают толпу, и мало того, что создают лжекумиров и низвергают заслуженные авторитеты, вокруг них вспыхивают гражданские и прочие войны, от которых могло бы спасти немного самокритики.

телескопа. Я не случайно приводил пример с бедным Марленом, моим сокурсником. (Не знаю, ухватили ли вы эту мысль; хочу ее подчеркнуть, хотя это наглость со стороны человека, который присвоил себе право речи, то есть я в данном случае лектор, все другие молчат и не имеют права говорить, и поэтому он за них решает, что они поняли, а что нет. Боюсь, что то, что я говорю, непонятно, — не в том смысле, что вы не можете понять, а потому что понять это — очень важно.) Выражение лица этого комсорга, о котором я рассказывал, — такая деталь. Проблема в том, чтобы увидеть это выражение не само по себе — когда, скажем, он не увидел нищего мальчика, нищий мальчик — это мелкий факт, который мы все видим, — а увидеть за этим что-то, то есть увидеть за фактом того, что мой коллега не увидел и не мог воспринять нищего мальчика, существенный закон, а не просто случайность (воспринял — не воспринял). Таких случаев бывают тысячи, миллионы, когда мы не видим, что за этими деталями, мелочами что-то стоит и сама деталь является не самодостаточной, не самостоятельной вещью — выражением лица, цветом неба, — а элементом чего-то другого.

Видеть другое сквозь деталь и есть то, что Пруст называл видеть телескопом; не в микроскоп разглядывать, как обычно приписывают Прусту, а телескопом приближать к себе то, что есть на самом деле большое, но только из-за нашего душевного удаления кажется мелким. Кроме физических расстояний, и в этом состоит глубокое ощущение Пруста, есть «расстояния душевные»², и эти расстояния настолько важны, что, говорит Пруст, можно обнимать возлюбленную, то есть быть в непосредственной близости с ней, в соприкосновении, и при этом быть от нее так же далеко, как если бы она была на Сириусе, на самой дальней звезде³. И вещи выступают перед нами не на физических расстояниях, а на душевных, или духовных.

На больших расстояниях то, что нам кажется мелким, на самом деле может быть целой звездой, констелляцией, или фигурой, то есть эти детали есть элементы фигур, а фигуры могут быть громадными. Я потом попытаюсь показать, что эти фигуры вообще занимают совершенно другие пространства и другие времена, не совпадающие с пространством и временем нашей индивидуальной жизни и значительно их превосходящие (а наша индивиду-

² S.B. — p. 170 — ...n'était situé qu'à une distance d'âme, un de ces distances qui ne se mesurent pas par mètres et par lieues, comme les autres...

³ I.(J.F.) — p. 529 — ...ces affreuses distances intérieures au terme desquelles une femme que nous aimons nous apparaît si lointaine. (1:ДЦ:647) — ...то ужасное расстояние, что отделяет нас от любимой женщины, которая кажется такой далекой.

альная жизнь движется по линиям судьбы, как раз по таким линиям, которые есть линии этих пространств и времен). Впредь буду называть их конфигуративными пространствами, или пространствами фигур, и поэтому, когда я говорю «фигура», это, с одной стороны, и образ, и часть речи, чтобы просто прояснить смысл, но, с другой — это имеет для меня некое содержательное значение как термин или, как выражаются профессионалы, понятие. Но пусть вас не пугает слово «понятие», ничего в этом страшного нет. Хотя мы занимаемся мышлением, но я должен напомнить, что, например, Гете, относящийся к числу людей опытных в мышлении и которого я хочу процитировать, говорил следующее: все мышление не может помочь мышлению⁴, то есть мышление совершается каким-то другим образом, и поэтому все мышление не может помочь мышлению; должно быть что-то еще, или другое. И вот это другое, укорененное в самой жизни, мы попытаемся нащупать.

Сделаю следующее предупреждение: когда я привожу какие-то события, детали не в качестве самостоятельных, а в качестве элементов фигур, то я пользуюсь примерами и я обязан пользоваться доступными примерами, то есть доступными не по трудности, а такими, которые и вы, и я, и другие испытали. Здесь есть закон: я должен приводить примеры просто потому, что так построен наш язык и он обязывает нас идти определенным путем, — если ты хочешь что-то сказать действительно дельное, то должен приводить примеры, потому что фигур без элементов, без деталей не существует, и это, так сказать, законы человеческого языка.

Подчеркиваю слово «человеческий», — это тоже имеет для меня значение. В каком смысле? Когда я разговариваю на человеческом языке, я не могу хитрить, разговаривать намеками (вот к этому относится мое предупреждение). Наш язык, повторяю, имеет законы. Например, в нашем языке все принадлежит нам; все, что человеком создано, принадлежит нам, и если я ссылаюсь на Пастернака, то это не потому, что хочу совершить незаконный акт, я это делаю потому, что меня обязывает к этому язык; мысль выразить нельзя, если не следовать законам языка, человеческого языка. Все, что в мире создано, принадлежит нам, и мы можем на все ссылаться, и поэтому, если я ссылаюсь, не воспринимайте это как некий антимилицейский акт с моей стороны.

В свое время довольно известный публицист XIX века Варфоломей Зайцев (один из немногих русских эмигрантов, когда-то в

⁴ «Je n'ai jamais pensé à la pensée», dit-il [Goethe]. Et il ajoute, une autre fois: «Ce que l'homme observe et sent à l'intérieur de soi-même me paraît constituer la partie la moindre de son existence. Il aperçoit alors bien plutôt ce qui lui manque ce qu'il possède». — Valéry P. Œuvres. Paris: Gallimard, 1957. P. 542.

восьмидесятих годах он издавал в Женеве газету, я забыл, как она называлась, и писал очень злые памфлеты; памфлетист он был, действительно, — язва самая настоящая) написал замечательный памфлет, который называется «О собачьем хвостике, или о характере русской прессы» или «...о характере языка русской прессы». Там есть образ, который, конечно, относится к собачьему языку в отличие от человеческого. Зайцев говорит, что если записать сейсмографом (сейсмографической записью) виляние хвостика собаки перед своим хозяином, то полученная диаграмма будет абсолютно похожа на тот язык, которым пользуется русская пресса. Но, в отличие от этого, мы пытаемся говорить на человеческом языке просто потому, что так построена культура; таковы законы культуры. Поскольку они таковы, то это не значит, что цветок культуры растет для того, чтобы кого-нибудь обрадовать или кого-нибудь огорчить; он растет по своим законам. Следовательно, повторяю, не делайте отсюда вывода, что я имею некий специальный умысел нарушать правила уличного движения или общественного порядка или показывать кукиш в кармане, так как то, что я говорю, те примеры, которые привожу, — все это я делаю просто потому, что подчиняюсь законам говорения, законам того, как строится культура.

Здесь есть еще один очень важный момент (он нам нужен в связи с Прустом, и мы должны на этот момент настроиться): дело в том, что, когда мы говорим о чем-нибудь внешнем — скажем, я говорю, «собачий язык», имея в виду русскую прессу XIX и XX веков, — опять же мы должны понять это через стиль, то есть это — элементы фигуры. Чтобы увидеть элементы фигуры, то есть нечто не просто хорошее или вредное, а элементы фигуры, нужно заглянуть в себя; вот как строится человеческая речь, ибо мы вечны. Это значит, что если мы не заглядываем в себя, то вечно будет всякое уродство и всякая дрянь, потому что она поддерживается материей наших чувств, из нас вырастает и она будет сменяться; сегодня будет одно безобразие, завтра — другое, поэтому само по себе безобразие не имеет значения. Если нас на нем «зациклит» и мы в себя не заглянем, то будут другие безобразия; они сами по себе неинтересны. Нечего ругаться, обвинять других, нужно в себя заглянуть. И опять же — нужно это делать, следуя законам языка, на котором строится любой культурный акт, то есть любой акт внутри культуры. Это означает также, как я говорил в прошлый раз, что нужно мужество (не перед милицией, чтобы не бояться ее, есть вещи страшнее милиции, потому что сегодня милиция, завтра полиция, послезавтра она еще как-то иначе будет называться; я сказал, что все это будет воспроизводиться, повторяться, само по себе это неинтересно) — мужество в себе, нам ведь самим страшно увидеть правду (это важная прустовская тема).

Пруст говорит, что занимается не деталями, а радиографией (прошу прощения, я допустил галлицизм в русской речи, я должен был сказать: занимается рентгеноскопией). Например, я вижу гладкий бархатный женский живот, но если я знаю, что эта женщина больна раком и этот живот скрывает (под своей гладкой поверхностью) раковую опухоль, я ничего не могу поделать: я вижу раковую опухоль. В этом смысле у меня, говорит Пруст, «рентгеноскопия»⁵ — довольно сложное занятие; условно назову это философией жестокости.

У Пруста, как у всякого человека, прожившего интенсивную духовную жизнь, есть философия, и ее можно назвать так: философия жестокости. Приведу другой пример, который вам, может быть, будет более близок, поскольку он относится к театру, хотя автор малоизвестен и спектакли его не ставились (да и, по моему, самим французам он тоже не особенно известен); я имею в виду французского актера и режиссера и теоретика театра Антонена Арто, который свой театр называл «театром жестокости». По аналогии с этим мы можем понимать словосочетание «философия жестокости», оно звучит примерно так (в прустовском варианте, — в одном из самых безобидных, потому что есть более обидные): мы должны на собственный страх и риск из впечатлений извлечь истину, то есть извлечь фигуру (если перевести на тот язык, который я употребляю), — мы должны иметь мужество, смелость, например, вместо фразы «она очень мила» сказать «я получил удовольствие, целуя ее»⁶. Чаще всего именно так и обстоит дело: не она мила, а просто я получил удовольствие, поцеловав ее, и все. Насколько часто мы можем себе это сказать? Хотя чаще всего это так, но реже всего мы осмеливаемся сказать себе это, потому что мы сразу в своем воображении строим целый роман.

Этот пассаж я завершу простой цитатой; как-то одному из литературных критиков, Куртиусу, Пруст писал (Куртиус занимался творчеством Пруста и пытался его анализировать): «... нам незачем заниматься политикой». Кстати, эта фраза уже текстуально, словами

⁵ III (*T.R.*) — p. 718–719 (6:OB:28) — ...несомненное для всех очарование многих людей от меня ускользало, я просто-напросто был лишен этого дара — останавливать на нем свое внимание, — так хирург под восхитительной округлостью женского живота видит скрытую внутри опасную болезнь. Я напрасно ходил на обеды в лучшие дома, я не видел других гостей, потому что, когда мне казалось, что я смотрю на них, в действительности я делал рентгеновский снимок.

⁶ *Ibid.* — p. 896 (6:OB:216) — Какое это огромное искушение — попытаться воссоздать истинную жизнь, обновить прежние ощущения! Но для этого необходима смелость всякого рода и даже смелость чувств. Ибо это означает прежде всего отказаться от самых дорогих иллюзий, перестать верить в объективность того, что когда-то придумал сам, и, вместо того чтобы в тысячный раз тешить себя словами: «Она была так мила», прочесть между ними: «Мне было так приятно целовать ее».

Пруста, подтверждает то, что я говорил перед этим, потому что все мое предупреждение сводилось к тому, что нам незачем заниматься политикой в том смысле, что есть вещи более серьезные и имеющие большие политические последствия, чем сама политика, — мы занимаемся литературой.

Пруст так и пишет: «Нам незачем обсуждать политику (*то есть обсуждать сами по себе незначущие и вечно повторяющиеся детали или уродства*), наше дело — литература». «Литература» в данном случае употребляется в совершенно особом смысле: это не занятие, состоящее в том, что человек пишет книги; литература, или литературный акт, у Пруста есть часть построения душевной жизни, часть построения актов понимания того, что происходит в мире и что происходит с тобой в этом мире. «...наше дело — литература. Конечно, нас многие могут обвинить в том, что мы страдаем *morbo litterario* (*болезненной страстью, болезненным графоманством, не знаю, как иначе это перевести*), — нет, унижает (*или уменьшает, или уничтожает*) нас плохая литература, а крупная литература всегда открывает нам неизвестную часть нашей души. И вот — из-за чего я это вспомнил, — дальше идет блестящая фраза: «...не нужно бояться зайти слишком далеко». Например, мы боимся сказать «рак» (это значит зайти слишком далеко); всегда есть какая-то мелочь, какая-то причина, за которую мы можем зацепиться, чтобы отклонить от себя осознание, что это рак. Так вот, Пруст говорит: «Никогда не нужно бояться зайти слишком далеко, потому что истина всегда еще дальше»⁷. Действительно, подумаем, нам никогда не удастся зайти слишком далеко, потому что истина все равно будет еще дальше.

Итак, в прошлый раз я сформулировал следующую задачу (конечно, я не требую, чтоб вы решали ее, как арифметическую) и привел следующий факт из жизни: когда мы испытываем любовную иллюзию, самым существенным во время ее испытывания является то, как на самом деле обстоит дело, что на самом деле происходит, то есть нечто отличное от того, что мы переживаем (ведь переживаемое нами чаще всего является просто иллюзией, плодотворной, но иллюзией).

Кстати, хочу оговорить, что я часто буду употреблять слово «иллюзия», тем более что роман Пруста можно определить так: роман до уничтожения последней иллюзии. Это роман прохождения такого пути, который есть путь завершающийся (или не завершающийся-

⁷ «D'ailleurs nous avons nul besoin de parler politique. La littérature est notre part et c'est une part très féconde. Renan dirait que nous souffrons morbo litterario, c'est absurde.

La mauvaise littérature rapetisse. Mais le vrai fait connaître la part encore inconnue de l'âme. Il ne faut jamais avoir peur d'aller trop loin, car la vérité est au delà. — Lettre à E.R. Curtius // Centenaire de Marcel Proust. P. 74.

ся) — путь до уничтожения самой последней иллюзии⁸. Иллюзия не есть ругательное слово — скажем, французские авторы прекрасно это знали, потому что они лучше всех других исследовали человеческое сердце и душу, больше всего потратили на это сил и больше всех достигли успехов. Когда они говорят «*illusion amoureuse*» (Шарль Фурье, например), любовная иллюзия, то это не есть указание на то, что есть любовь и есть иллюзия, или любовь — это иллюзия, а по определению суть этого чувства заключается в его способности к иллюзии. В этом, самом по себе, нет ничего плохого, если мы посредством этой иллюзии извлечем некие смыслы и пройдем путь, ведущий в самих себя, к другим людям или внутрь других людей, или путь, ведущий в действительное устройство мира (в то, как мир на самом деле устроен). Так что это тавтология сказать: любовная иллюзия и любовь — одно и то же (и это не оценка).

Все самое важное для нас приходит к нам вопреки нашим волепроизвольным и сознательным усилиям, приходит, как говорит Пруст, «действием какого-то большого закона»⁹. Можно ли сознанием воли, пускай даже знающей, что бессмысленно мое переживание, заставить себя не испытывать переживание? Я говорил в прошлый раз, что если мы мчимся, как ядро, выпущенное из пушки, на любовное свидание, то вся проблема жизни как раз и состоит в том, можем ли мы изменить наше состояние. Оно, конечно, меняется, может измениться, но, предупреждает Пруст, действием закона, а не моим сознательным и волепроизвольным усилием. Я не могу перестать переживать, захотев перестать переживать; не может этого быть. Следовательно, Пруст вводит такую категорию изменений в наших состояниях и тем самым в нашей судьбе (в том, что с нами случится), которая не подпадает под известную нам категорию изменений.

Опять должен предупредить о свойствах нашего языка. Скажем, в отличие от «произвольного», мы склонны (и правы в этом) употреблять термин «непроизвольное». Ведь что мы понимаем под «непроизвольным»? — наши аморфные душевные состояния, эмоции и так далее... некоторые интуиции, мимолетные ощущение

⁸ III (T.R.) — p. 896 (6:OB:216) — Какое это огромное искушение — попытаться воссоздать истинную жизнь, обновить прежние ощущения! Но для этого необходима смелость всякого рода, и даже смелость чувств. Ибо это означает прежде всего отказаться от самых дорогих иллюзий...

II (C.G.) — p. 567 — *Nous sommes attirés par toute vie qui nous représente quelque chose d'inconnu, par une dernière illusion à détruire.* (2:Гер:581) — Нас влечет к

себе жизнь каждого человека, в которой заключено что-либо нам неведомое, последняя, еще не исчезнувшая иллюзия...

⁹ Ibid. — p. 160 (2:Гер:159) — ...это выше человеческих сил и случается только против нашей воли, под влиянием какого-нибудь могучего закона природы, — свернуть с дороги, на которой он стоит, на которой лицо любимой женщины видится ему только сквозь его мечты.

ния, чувства, которые характеризуются печатью непроизвольности, — не об этом идет речь. Не об этом идет речь для Пруста и вообще в принципе. Как раз такого рода состояния — я назову их кисельными, то есть не имеющими структуры (у французов есть хорошее слово для этого — *velléité*, то есть поползновения, потуги), — непродуктивны, и не они называются непроизвольными. Но я буду употреблять термин «непроизвольное» потому, что в нашем языке других слов нет.

Поясню свою мысль, чтобы настроиться и вам и мне; во многих местах у Пруста (и у других авторов) мы встретим такое выражение: моя жизнь или ее эпизоды, события были, как оказалось, материалом искусства¹⁰. Как мы это понимаем? Очень просто, как в обыденном языке: произошло некое событие, и это есть материал в том смысле, что я могу его описать, рассказать о нем, и в этом смысле оно (событие) составляет материю романа и какой-то сюжет. Но речь идет не об этом. Точно так же, как непроизвольное означает что-то другое по отношению к самому слову «непроизвольное», так и слова «материя искусства» — а это связано с непроизвольностью (скажем, моя жизнь или ваша жизнь, ее эпизоды, события как материал, или материя, искусства не есть то, о чем можно рассказать) — в данном случае имеют прямой, буквальный смысл, который очень трудно уловить. Материя искусства в совершенно прямом смысле этого слова — не сюжет для описания или предмет для описания, а материя самого произведения искусства, его плоть.

Я об этом только предупреждаю, потому что мы не можем с ходу раскрутить и понять это. Просто я обращаю наше внимание на сложность самого словоупотребления в языке — мы не должны, услышав слово, спешить понять его по тому значению, которое оно нормально имеет, хотя это значение невозможно отменить. К сожалению, мы должны пользоваться теми словами, значения которых отменить нельзя, но можно из слов составить такую композицию, которая нейтрализовывала бы неминуемо возникающую в наших головах ассоциацию по нормальному значению (другого языка у нас нет). Переводя на язык, близкий к любви (а мы все время крутимся вокруг любви, потому что любовь — основной сюжет Пруста и романа, о котором мы говорим), я выражу немножко

¹⁰ III (T.R.) — p. 899 (6:OB:219) — И я понял, что материал, необходимый для литературного произведения, — это мое прошлое; я понял, что собирал его в легкомысленных удовольствиях, в праздности, в нежности, боли, собирал, даже не догадываясь о его назначении и вообще о том, что он сумел выжить, словно зерно, в котором накапливаются питательные вещества, не-

обходимые растению. И, как зерно, я готов был умереть, когда во мне зародилось и стало развиваться растение, оказалось, я и жил-то ради него, только не подозревая об этом, не зная, что жизнь моя должна когда-нибудь соприкоснуться с этими книгами, которые мне хотелось бы написать и для которых, садясь прежде за письменный стол, я не находил сюжета.

иначе то, что сказал о языке, и приведу известную фразу Франсуа Вийона, которая как извинительная обращена к принцу; она звучит так: «*Prince, on a les amours qu'on a*». (К сожалению, в русском языке нет слова «любовь» во множественном числе, что говорит не только о недоразвитости языка, но и о недоразвитости чувств, которые выражаются в языке.) Переведем так: «Принц, у нас есть те любви, какие есть, — и дальше Вийон добавляет, — извините меня за немногое»¹¹. *On a les mots qu'on a* — у нас есть те слова, какие есть, других нет.

Почему я сказал о материале искусства, пытаясь нейтрализовать, блокировать в голове ассоциации по нормальным значениям этого слова (и о непроизвольном тоже предупредил), — потому что то изменение, о котором говорит Пруст, происходит действием изменения нашего состояния, действием некоего закона, а не мною самим производится. Значит, во мне должен породиться такой закон, чтобы даже вопреки мне или независимо от моих сознательных и волепроизвольных усилий изменить мое состояние. Фактически Пруст хочет сказать, что это нечто, которое производит такого рода изменение, действует наподобие органа, в отличие от воли и сознания. (Для того чтобы мне увидеть эту трубку, мне ведь не нужно организовывать сознанием и волей акт зрения: глаз, будучи органом зрения, производит то, что я вижу.) Здесь, в глубине, скрывается тема, что для Пруста то, что называется произведением искусства, или текстом (помните, я употреблял слово «текст»), — не есть знание.

Скажем, Сен-Лу можно передать знание, что Рашель, его возлюбленная, продавалась в доме свиданий за двадцать франков,

¹¹ Предположительно, речь идет о словах «*Mais c'étaient mes amours, excusez-moi du peu*» (Но таковы мои любовные страсти, извините меня за немногое) из песни Жоржа Брассенса *Les Amours d'antan* (Любовь былых времен) — реминисценции известной баллады Вийона *Ballade des dames du temps jadis* (Баллада о дамах былых времен). Но если в балладе Вийон вспоминает известных своей красотой или страстностью женщин прошлого: римлянку Флору, возлюбленную Абельяра Элоизу, Жанну Д'Арк и др., отправляться на поиски которых столь же напрасно, как и пытаться найти «прошлогодний снег», то Брассенс воспеваает в качестве «дам былых времен» своих возлюбленных: Манон, Мими, Сюзан, Мюзетту. Торжественное «*Prince*» — традиционное обращение поэта к лицу, которому посвящалась баллада, Брассенс заменяет на дружеское «*mon*

prince» (мой принц), обращаясь тем самым к Вийону, которого часто называют принцем поэзии: «*Mon prince, on a les dam's du temps jadis — qu'on peut...*» (Мой принц, а что до дам былых времен — вот все, что есть).

«Баллада о дамах былых времен» Вийона также исполнялась Брассенсом. Она появляется в его репертуаре еще до написания «Любви былых времен». В архиве Мамардашвили сохранился конверт грампластинки с песнями Брассенса, среди которых и *Les Amours d'antan*, и *Ballade des dames du temps jadis*. Возможно, здесь кроется исток возникновения фразы, которую приводит Мамардашвили и ошибочно приписывает ее Вийону.

Слова песни Брассенса приведены по книге, которая была в библиотеке М. М.: George Brassens. *Présentation par Alphonse Bonnafé. Choix de textes. Discographie, portraits*. Paris: Seghers, 1963. P. 151.

но я предупреждал, что это знание несообщимо с головой Сен-Лу, оно не войдет в нее (кстати, очень интересный закон, почему оно не войдет), и он не сможет изменить свое отношение к Рашель (хотя это самая большая и интересная проблема). Он знает (если ему сообщить), что Рашель — двадцатифранковая проститутка, и посредством этого знания не может ничего изменить. Более того, по дороге между знанием о том, что Рашель — двадцатифранковая проститутка, и результатом — изменением отношения Сен-Лу (которого не происходит) — стоит громадное пространство, громадный мир того, что можно назвать психологической переработкой, или проработкой.

Совершенно чуждое Сен-Лу знание о том, что Рашель продавалась в доме свиданий за двадцать франков, может получить для него (путем проработки) совершенно особый, тайный смысл и внутреннее уникальное, только Сен-Лу доступное очарование. Пруст говорит, что нет такого самого отвратительного существа на свете, которое хотя бы для кого-нибудь одного не представляло под знаком самой трогательной нежности и очарования¹². Более того, Сен-Лу даже может извлечь особую гордость — они вот так думают, а он-то знает, что Рашель прекрасна... — вам знакомо то, что я сейчас говорю? — у него будет даже особая привилегия внутреннего знания, абсолютного шарма того, что вопреки всему он знает. Все видят внешнее, они не знают и не понимают Рашель; они живут в мире рассудочных представлений и иллюзий, но он знает каким-то внутренним особым знанием, тайным очарованием, примерно таким, как если бы герой одной из новелл Музиля поверил в непорочную беременность¹³. Это — акт. Мы сейчас возвращаемся вокруг акта веры; можно совершить такой внутренний акт: поверить в непорочную беременность, хотя это противоречие в терминах.

Возвращаюсь... Значит, как раз то, что мы суммарно и пока непонятно называем текстом, и есть то — я уже употребил слово «орган», — что производит, может произвести изменения, которые иначе недоступны нашим усилиям. Здесь мы сразу врезаемся в очень сложную проблему, которая другим путем нас должна привести к теме, которую я все время обещаю и пока до нее никак не дошел, хотя на первом нашем занятии ее пометил, а именно к теме так называемого труда жизни. Приведу пример, чтобы пояснить, что хочу сказать... Мы сталкиваемся с таким законом нашего со-

¹² II (С.Г.) — р. 283 (2:Гер:286) — Таково наше общество: в нем даже те, что видны насквозь, даже те, что пользуются самой дурной славой, все же как бы находятся в глубине и под защитой восхитительной диковины, прячущей их.

¹³ Musil R. *Tonka* // Musil R. *Ausgewählte Prosa*. М.: Progress, 1980; *Музиль Р. Тонка* // *Музиль Р. Малая проза: Избранные произведения*: В 2 т. Т. 2. М.: Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 1999. С. 51–92.

знания, нашей психологической жизни, что в логосе (мы помним, что логос — смысл некоего собрания; вот есть энное число вещей, в принципе относящихся к делу, и все, что важно для дела, есть собрание, называемое логосом; в греческом языке само слово «λόγος», идущее от «λέγειν», имеет такой этимологический смысл) все, что относится к делу, не только связано (логос, как я сказал, не присутствует отдельно ни в каком члене собрания, отдельно логос не дан; логос есть то, что есть смысл всего собрания, и он, следовательно, не может быть дан ни в одном члене собрания), но все его члены помечены словами, имеют названия.

Скажем, «вода» как название (я специально привожу этот пример, потому что он мне пригодится для пояснения той темы, о которой я хочу сказать): вода в пробирке — вода; вода в море — вода; вы можете взять пробирку и наполнить ее водой, взятой из моря. Существует один странный закон, к которому Пруст неоднократно возвращался, он говорил примерно так... Фактически я уже приводил материал этого закона: например, я сказал, что лицо Рашель одинаково доступно Сен-Лу и Марселю в смысле, как выражается Пруст, «общих актов», то есть то, что называется носом, глазами, щеками, губами, выражением лица и так далее, — это общее, то, что может быть на лице Рашель (скажем, улыбка радости), и на лице Франсуазы, и на лицах бесконечного числа других людей. Смеющиеся глаза могут быть на одном лице, на втором, на тысячном. Ведь мы все это понимаем и называем: это есть доступность в смысле общих актов, то есть таких же, как у других.

Я приводил эту цитату, но можно ее повторить: «Это лицо, с его взглядами, улыбками, движениями рта, показалось мне значимым лишь в смысле общих актов, без чего-либо индивидуального (здесь *вкрадывается словечко «индивидуальное», очень важное, хотя странно — оно здесь нарушает законы нашего говорения, потому что, когда мы говорим «нос», мы даже общее индивидуализируем*), и я не мог бы иметь любопытство искать под ними персону». В другом месте, оборачивая эту же мысль отрицательной стороной (как раз той, которая мне была важна, именно ее я и хотел привести), Пруст говорит так: «...в коллекции наших идей (*идеями в данном случае назовем просто общие понятия, названия — «нос», «глаза», «лицо» и так далее, наши представления о красоте, об интересной мысли и так далее — тоже идеи*) нет ни одной, которая отвечала бы индивидуальному впечатлению»¹⁴.

¹⁴ II (C.G.) — p. 49 — ...dans la collection de nos idées, il n'y en a aucune qui réponde à une impression individuelle. одного, которое соответствовало бы нашему новому впечатлению.
(2:Гер:47) — ... в наборе наших представлений нет ни

Начну с определения, а потом приведу пример, чтобы разяснить; это очень важная «деталь» (в смысле элемента фигуры). Чтобы у нас была ведущая нить раскручивания этого примера, выражусь так: есть проблема органа, который производит, а не я произвожу, глаз видит — не я вижу; и проблема органа есть проблема логоса того, что вне логоса разделено. Есть глаза, нос, улыбки, движение взгляда в логосе и есть вне его. Логос есть логос того, что вне логоса разделено; вне логоса это — общие акты, за которыми нет «любопытства искать персону». И во всем этом нет ничего — в общих актах или названиях, — что соответствовало бы индивидуальному впечатлению.

Приведу пример для пояснения. Скажем так — известный простой факт, который мы должны ухватить на уровне интуиции: есть вода в смысле индивида «вода» (а вода — даже физики знают — индивид), и есть она же, называемая «водой», вне индивида. Это тонким образом связано с тем, что я называю органом. Вы можете взять воду из океана или моря, держать ее в пробирке и убедиться в следующем факте: вы получите мертвую воду. Это другая вода, хотя элементы ее те же самые, что и у морской воды, абсолютно те же самые элементы. И это тайна. Различие между ними мы называем словом «жизнь». Следовательно, одно мы называем живым, другое — мертвым. Или — одно называем индивидом. Что такое морская вода и то, что в морской воде? Это миллионы и миллиарды сочетаний деталей, такие, что маловероятно, чтобы еще один раз эти детали могли бы сочетаться в том виде, который нам дан в качестве воды, — и это называется индивидуальностью. Значит, сочетание многих элементов, или обстоятельств, или просто фактов, что эти элементы были вместе, нам приходится называть индивидом, потому что маловероятно (по законам статистики или математики), что сочетание столь многого еще один раз могло бы случиться. Более того, оно не только не случится еще один раз (и поэтому, если случается только раз, называется индивидом), а еще есть сила неразложимого на элементы сочетания: в пробирке у нас та же самая морская вода, а она не та. И в названии ничто нас не готовит к тому, чтобы воспринять индивидуальное впечатление. Как видите, я проделал довольно сложное рассуждение, чтобы напомнить простой факт.

Прустовский герой слушает певицу Берму... У него все произведения искусства воображаемые — как бы внутри произведения искусства, называемого «В поисках утраченного времени», создаются еще произведения искусства, которые в нем описываются. Таково пение Бермы, которое Пруст воспроизводит так, чтобы мы его почувствовали... (...)

Значит, я сказал, что в этом романе, как произведении искусства, фигурируют и воссоздаются другие произведения искусства, потому что для Пруста, и для вас, и для меня среди всех наших жизненных впечатлений довольно существенное место занимают и впечатления от искусства (от книг, которые мы читаем, и других произведений, с которыми мы сталкиваемся), которые подчиняются тем же законам, и из них тоже можно и нужно извлечь то же, что и из любых других впечатлений. Для Пруста, и это существенно, впечатления от искусства не вынесены отдельно, но являются частью нашей жизни, уравниваются с другими впечатлениями, из которых нужно извлечь своим собственным трудом нечто — так же как из лица Рашель. Только мы не всегда это замечаем, потому что Рашель для влюбленного Сен-Лу судьбоносна, важна, а книжка, казалось бы, не важна, но в действительности это впечатления, играющие такую же роль в нашей жизни и также требующие того, что в самих впечатлениях не содержится в той мере, в какой они совпадают с общими значениями.

Когда Пруст описывает пение Бермы, он сталкивается (и наглядно воссоздает, описывает эту трудность, проблему) с тем, что воспринять пение Бермы как нечто красивое очень трудно, потому что то, что есть пение Бермы, не соответствует общему представлению о том, что красиво. Нет никакого соответствия — Пруст все время подчеркивает — между общим представлением о красоте (например, я знаю, что интересно, что красиво) и индивидуальным впечатлением¹⁵. Так же как и в названии воды нет ничего, соответствующего жизни воды, то есть индивидууму воды. Поэтому я говорил, что в логосе — со стороны составляющих его названий или представлений общих актов — нет ничего, что соответствовало бы индивидуальному впечатлению. Значит, из логоса — из

¹⁵ II (С.Г.) — р. 49–50 (2:Гер:47) — От человека, от произведения (или от его исполнения), если только характерное выступает в них достаточно выпукло, у нас остается впечатление необычное. Мы приносим с собой понятия «красоты», «свободной манеры письма», «патетичности», и у нас может возникнуть иллюзия, что мы это открыли в банальном даровании, в правильных чертах лица, и вдруг бдительное наше сознание упирается в форму, для которой мы не можем подыскать точное определение, ибо она для нас величина неизвестная. Наше сознание слышит резкий звук, необычно вопросительную интонацию. Оно спрашивает себя: «То, что я испытываю, это хорошо? Это восторг? Это и есть колоритность, благородство, мощь?» А ему отвечает все тот

же резкий голос, странно вопросительный тон, перед ним все то же навязчивое впечатление от незнакомо-го ему человека, впечатление вполне материальное, в котором нет свободного места для «разных толкований». Произведения действительно прекрасные, при непосредственном их восприятии, должны особенно разочаровывать нас, потому что в наборе наших представлений нет ни одного, которое соответствовало бы нашему новому впечатлению.

Именно это доказывала мне игра Берма. (...)

Мы чувствуем в одном мире, мыслим, наименовываем в другом, мы способны установить между двумя мирами соответствие, но не способны заполнить разделяющее их расстояние.

названий, составляющих логос (то есть смысл), — мы ничего не можем извлечь; они не могут нам помочь в том, чтобы разобраться в том впечатлении, которое нас поразило, которое нас ударило, — например, пение Бермы или лицо Рашель.

Марсель видит лицо Рашель с точки зрения общих актов, потому что Рашель для него, как я говорил, в безразличном пространстве; он ничего и не видит, и не может извлечь смысл. Это событие — встреча с Рашель — для него не является жизненным событием, оно не вписывается ни в какой контур, который примет его жизненный путь. Здесь есть одна скрывающаяся вещь, которая взорвет все наше построение, может быть, неожиданным образом и одновременно заставит осторожно относиться к словам, которые у нас есть (а у нас есть лишь те слова, которые есть).

Я говорил в самом начале, что мы имеем дело с романом воспитания чувств, а сейчас мы получили очень забавный вывод из того, что во всем логосе нет ничего, что соответствовало бы индивидуальному впечатлению, то есть тому, что я могу извлечь из индивидуального впечатления, чтобы *образоваться* (например, образоваться в своем переживании красоты, восприняв красоту пения Бермы, или образоваться в законах любви, раскрутив свое впечатление, размотав свое впечатление от лица Рашель). Мы получили вывод: когда мы говорим о воспитании чувств, то сами находимся в области, где нет никаких норм и правил; значит, то, что я говорил об отсутствии соответствия индивидуальному впечатлению, на другом языке есть просто то, что мы находимся в области, где нет норм и правил, то есть ни одна норма, ни одно правило не могут нам помочь.

Что же это — воспитание? Ведь что такое воспитание молодого человека? Он воспитывается путем овладения существующими нормами и правилами и путем развития в себе способности прилагать эти нормы и правила к хаосу своей жизни, к жизни своих переживаний; обуздывать свои переживания и хаос души посредством норм и правил. А мы установили, что норм и правил нет. В мире норм и правил нет ничего, что соответствовало бы индивидуальному впечатлению. Повторяю, в коллекции наших идей нет ни одной, которая отвечала бы индивидуальному впечатлению. Значит, отсутствие норм и правил говорит нам об очень странном воспитании, не совпадающем с тем, что мы обычно понимаем под воспитанием, и говорит о том, что мы в области, где нет норм и правил, сталкиваемся с одним чудовищным фактом: есть что-то, чего нельзя знать.

Скажем для начала — нельзя знать заранее. То, что содержится в пении Бермы или в лице Рашель, нельзя знать и пережить путем знания. Нельзя знать и посредством этого знания пережить то, что

видишь или с чем встречаешься. И вот это «нельзя знать» у нас начнет часто повторяться. Хочу закрепить одну вещь: дело в том, что то странное воспитание чувств, где нет норм и правил (а мы не можем воспитать себя посредством норм и правил), — это и есть, с другой стороны, то самое первое, что мы испытываем как живые. Совершим небольшой акт рефлексии, подумаем о самих себе: ведь именно в том, для чего нет никакого эквивалента в нормах и правилах, или «в общих представлениях общих актов в общем смысле», и есть наша жизнь; в этом мы живы (во всем остальном, что мы знаем по правилам и по нормам, мы мертвы), или: мы чувствуем себя живыми как раз в такого рода вещах (пока нам достаточно просто интуиции).

Сделаю еще один шаг, чтобы закрепить и связать это с тем, о чем говорил вначале. Как раз то, что не входит в логос или названия, не входит в ту область, где нет эквивалентов индивидуальному впечатлению, а остается у нас на стороне ощущения себя живыми, и есть сознание (в отличие от знания, в отличие от многих других вещей). Есть напряжение между тем, что я назвал сознанием (пока оно есть просто нечто, в чем мы ощущаем себя живыми), и эмпирическим сознанием, частью которого являются наши знания (в том числе знание норм и правил), — напряжение хотя бы в том, что в мире знаний, норм и правил нет ничего, что соответствовало бы этому [нечто, в котором мы ощущаем себя живыми] и которое я мог бы пережить, наложив на него знание, взятое из мира норм и правил.

Сделаем один маленький вывод: то, что мы будем называть и дальше текстом, или органом, не есть знание. Следовательно, любые изменения, с которыми мы будем иметь дело, не есть изменения, произведенные знанием. Узнав что-то о Рашель, путем знания я ничего не могу изменить; узнав о том, что в принципе красиво в вокале, я ничего не могу извлечь из живого восприятия пения Бермы. Закрепив это, мы сталкиваемся с очень интересной проблемой. В прошлый раз, приводя пример с Сен-Лу, я специально опустил один очень важный момент, который теперь уже уместно привести в контексте той мысли, что текст не есть знание. Чтобы у нас опять-таки была нить, я скажу так: мы стоим в области воспитания чувств, или образования самих себя, или реализации себя, в области, где существует проблема узнавания того, чего нет в элементах логоса.

Мы подошли к проблеме узнавания и неузнавания. Ведь когда я слышу пение Бермы или вижу лицо Рашель, то передо мной в одном случае — красота пения, а в другом — факт знания о реальном биографическом обстоятельстве в жизни Рашель, а именно что она двадцатифранковая проститутка. Я могу встретиться с этим и не

узнать, имея в голове общие представления о том, каково должно быть пение, что красиво, когда хорошо поют, когда плохо поют или о том, каковы женщины. (Повторяю, это проблема узнавания того, что есть.) Пруст иногда выражался так: «не узнать друга» или «не узнать бога»¹⁶. Ведь можно встретиться с богом и не узнать в нем бога, или встретиться с другом и не узнать в нем друга. Повторяю, мы должны закрепить в голове, что это не просто случай, или случайность, а в этом действуют законы: законы того, почему мы не узнаем, и законы, почему мы узнаем, то есть условия и законы, почему мы можем узнать то, что могли и не узнать. Вот некая такая трагедия и комедия, если хотите, недоразумений, когда одно при встрече другого — ему родного — его не узнает.

Я перевожу уже на совершенно обыденный язык те абстрактные вещи, которые я говорил о красоте, о понятии красоты, о том, что понятие красоты никогда не соответствует индивидуальному впечатлению. Нет, в том-то и дело, что все это есть одно и то же. Короче говоря, эту проблему я выражу строчкой из стихотворения Гумилева (одна из гениальных тем у Пруста и вообще — тема поэзии): «О, как божественно соединение извечно созданного друг для друга!»¹⁷ — то есть может быть нечто, извечно созданное друг для друга, но не соединившееся даже при эмпирической встрече. Понятно, что может не соединиться [извечно созданное друг для друга] — просто потому, что никогда не встретится, а нет... может встретиться и не соединиться, ну а если соединится, то — «О, как божественно соединение извечно созданного друг для друга!»

Значит, мы имеем дело с соединением или несоединением. Более того, мы имеем дело с нашей, скажем так, трагической человеческой конечностью. Дело в том, что мы действительно (то есть эмпирически, на деле, фактически) не можем — поскольку мы конечны, у нас нет бесконечного времени — встретиться со всем тем, что создано для нас; не можем, потому что пространство нашей жизни ограничено, даже географические возможности ограниче-

¹⁶ I (J.F.) — p. 719 — ...j'étais triste comme si je venais de perdre un ami, de mourir moi-même, de renier un mort ou de méconnaître un dieu. (1:ДЦ:854–855) — Я увидел, как деревья стали удаляться, в отчаянии замахав руками, точно хотели мне сказать: «Того, что сегодня ты не узнал от нас, тебе не узнать никогда. Если ты дашь нам снова погрузиться в эту глушь, откуда мы тянулись к тебе, то немалая часть твоего “я”, которую мы тебе приносили, навсегда канет в небытие». Действительно, если мне впоследствии и пришлось снова испытать это наслаждение и это беспокойство, которое я еще

раз ощутил тогда, и если как-то вечером — слишком поздно, но уже навсегда — я отдался ему, то об этих деревьях, о том, что они хотели мне сказать про то, где я их видел, мне в наказание никогда ничего не удалось узнать. И когда экипаж свернул в сторону и я перестал видеть их, так как сидел спиной к ним, а г-жа де Вильпаризи спросила меня, отчего я задумчив, мне стало так грустно, словно я только что потерял друга, умер сам, отрекся от покойника или изменил некоему богу.

¹⁷ Гумилев Н. Стихи. Поэмы. Тбилиси: Мерани, 1989. С. 269.

ны. Откуда вы знаете, что вас сейчас кто-то ждет в Париже? И даже если бы вы могли сейчас выскочить в Париж, то я бы вам сказал: «А может быть, как раз в Лондоне, и не сейчас, а через несколько лет?» Более того, я могу задать себе вопрос: все ли, что есть наша жизнь, происходит во время нашей жизни? Ведь не случайно люди придумали идею бессмертия и надеялись на бессмертие, — они посредством этой метафоры уловили некое обстоятельство, действующее в нашей жизни, в том числе уловили вот эту конечность.

Уверяю вас, я по себе точно знаю, что есть какая-то книга, которая написана для вас и которую вы никогда не прочитаете, потому что нельзя прочитать все книги, — количество книг несопоставимо с возможным количеством наших актов; я уже не говорю об эмпирической случайности оказаться именно в той библиотеке или в том книжном магазине, где лежит эта книга, — это же необозримое море случайностей, нами не проходимое. Но интересно, что, хотя вы никогда не прочитаете книгу, которая о вас (то есть в ней есть опыт, идентичный вашему, и сделан еще один шаг вперед, который вам нужно сделать и вы бы сделали, если бы посредством этой книги заглянули в себя — а это есть задача книг), и хотя эмпирически этого может не произойти, тем не менее события этой книги могут произойти в вашей душе независимо от того, что вы никогда ее не прочитаете.

Символисты ведь говорили, что есть *correspondances*, символические соответствия: какая-то мысль, которая изложена в книге, которую вы никогда не прочитаете просто потому, что эмпирически ограничены, конечны, тем не менее может случиться в вашей голове. Я хочу сказать, что есть что-то, что действует против человеческой ограниченности и против человеческой конечности. Такими действующими инструментами являются те вещи, которые я называл текстами. Философы называли это продуктивным воображением — нечто нейтрализующее или предохраняющее меня от случайности того, что эмпирически я могу не встретить, не увидеть. (Ведь, понимаете, не может человек зависеть от того, что, скажем, ему был необходим бог («бог» — в данном случае с маленькой буквы, поскольку здесь многобожие, а не один Бог), а когда встретились, он был плохо одет и глаза человека глядели мимо него, или сквозь него, и тем самым не видели часть своей собственной души. Таких случаев — масса, их полно, — как я говорил, можно не признавать друга.) Есть некие дополняющие способности — они обычно называются человеческим воображением; в нем строятся конструкции, называемые текстами, которые производят в нас какие-то события, независимо от эмпирических возможностей или невозможностей встретиться с носителями или материальными исполнителями этих событий.

Более того, мы не можем всего знать по одному фундаментальному закону. Можно сказать так: мы могли бы все знать и, хотя мы конечны, могли бы, скажем, текстами дополнить свою неспособность быть бесконечными. Ну что значит «все знать»? — быть во всех местах пространства и времени. Допустим, можно предположить некую «божественную» способность охвата всего пространства и времени и мое участие в этом (в математике и физике осуществляют так называемый предельный переход: берут вещь на пределе). Можно взять воображение на пределе, но при условии, что ты сам не являешься частью того мира, который видишь и описываешь. А если ты сам актер, не только смотришь спектакль, но еще и участвуешь в нем (ты внутри него, то есть своим действием в спектакле меняешь все события, а они находятся в сцеплении с тобой), то тогда ты в принципе не можешь всего знать, потому что участвуешь сам в этой жизни — это означает еще одно ограничение. Я как раз привел нас к тому, о чем хотел сказать и что специально упустил на прошлом занятии в связи с проблемой изменения.

Так вот, изменение нам недоступно, если не выполнены какие-то условия, — недоступно само по себе, легким путем, не только потому, что то, о чем я говорил, не подчиняется нашей воле и сознанию, производится иначе, но еще и потому (и я сформулирую это грубым образом), что нам приходится менять уже измененное, а уже измененное менять очень трудно. Я поясню эту непонятную фразу: дело в том, что человек обычно меняет, преобразует эмпирические обстоятельства в своем сознании и воображении под знаком своих высоких идеалов — так, чтобы в том, что он видит и любит, принимает, были выполнены некие его требования к самому себе и миру. Скажем, Сен-Лу увидел Рашель — эмпирическая Рашель (женщина с плоским лицом) стала объектом страсти Сен-Лу, потому что она изменилась, преобразовалась в его взгляде, который видел Рашель из точки — назову ее так — «высокого», то есть из точки идеалов и мечтаний, навеваемых искусством (Сен-Лу увидел Рашель в театре). Мир, связываемый нами с театром — не с помещением, не с театром как таковым в физическом смысле слова, а с представлениями о человеческом благородстве, о высокой человеческой любви и так далее (потому что театр дает нам образцы этого), — это все преобразовало эмпирически видимое, *уже* изменило. В своем отношении к прекрасной Рашель — не к двадцатифранковой проститутке, а к прекрасной Рашель — Сен-Лу реализует себя как человека, с которым он сам может жить в мире. Он сам для себя допустим — почему? — потому что он сам поклонник идеалов доблести, а Рашель доблестна, и он, любя Рашель, любит доблесть (я словом «доблесть» заменяю многие слова, потому что

когда хочешь сформулировать мысль, спешишь и не ищешь всех терминов).

Значит, я обращаю внимание на то, что отношение Сен-Лу к Рашель (то, как он ее видит) есть, конечно, в фундаменте своем, его отношение к самому себе. В каком смысле слова? — в этом отношении должна реализоваться и не нарушиться его способность жить в мире с самим собой, уважать себя. Следовательно, я выражусь так, он уже стал человеком. И вот изменить «уже человека» на «еще человека» почти невозможно, то есть можно, но очень трудно. Я приводил фразу Аристотеля, что причина, почему я что-то люблю, важнее, чем то, *что* я люблю. Но дело в том, что есть закон, и фактически я его сейчас сформулировал. Повторю, причина, почему я люблю — скажем, люблю, потому что я поклонник доблести (это причина), — важнее того, что я люблю (например, Рашель), — перевернем все это: наша жизнь, сознание и психика устроены так, что потом нельзя иметь то, из-за чего любишь, без того, что любишь, то есть то, из-за чего любишь, ты потом имеешь через то, что любишь. Потом уже через Рашель Сен-Лу получает форму и область движения своих чувств, направленных на высокое, прекрасное, доблестное и так далее, и вторгнуться в эту область изменением почти невозможно.

Закон этот действует и в социальной жизни, мы тысячу раз встречаемся с примерами проявления этого закона. Очень часто мы ничего не можем сделать с такими неразвитыми дикарями (те, кого мы называем неразвитыми дикарями). Так же как Марсель считал Сен-Лу дикарем, потому что Марсель-то знал, что Рашель проститутка, и в этом смысле он был просвещеннее, чем Сен-Лу. Дело в том, что (прошу прощения, это довольно сложно выразить, потому что есть грубые выражения, которые кажутся ясными, но понятны в действительности только автору, говорящему)... Я лично очень часто сталкиваюсь с ситуацией, которая состоит в том, что у нас нет цивилизации (грузины нецивилизованны, кстати, примерно так же, как и русские). И часто возникает желание ввести какие-то рациональные изменения, но они всегда упираются в действие закона, который я выражу так: русские не могут стать людьми, потому что они уже стали людьми так, как они стали. В том, каковы они, они выполнились в доступных им пределах (и мы тоже, кстати, просто я по своему опыту сказал «русские», а есть у меня и другой опыт — наш собственный, грузинский): они уже реализовались. Это обладает такой инерцией, которая трудно поддается какому-либо изменению, тем более сознательному и волевому. Должен происходить некий органический процесс изменений, рождаемых из органов, из реального синтеза и развития какой-то мускулатуры, а не извне, — извне любое действие упира-

ется в то, что измененное изменить уже трудно именно потому, что оно — измененное.

Здесь возникает проблема, которая в психологии называется проблемой *identity, identité*, тождества с самим собой: если оно достигнуто, оно нерасторжимо. Его развязать — оно как бы сцепилось огненным взрывом, слепилось, — расцепить рациональными актами невозможно. То, из-за чего я люблю, существует для меня через то, что я люблю. Скажем, у Пруста есть такой оборот: если случилось так по законам (в том числе по закону кристаллизации — термин Пруста¹⁸, который во французской традиции в основном идет от Стендаля, — кристаллизации чувств¹⁹), что нежность открыта в мире через Альбертину, то потом, чтобы испытывать нежность, чтобы переживать ее (а в человеке есть потребность это переживать, даже независимо от предмета этой потребности), должна быть Альбертина²⁰.

А вот какова эта Альбертина? Может быть, она — демон, и, испытывая нежность только через Альбертину, представляете,

¹⁸ II (С.Г.) — р. 53 (2:Гер:50–51) — ...я посмотрел в сторону ложи принцессы Германтской. Движением, вычертившим изумительную линию, по которой мое сознание следовало в пустоте, принцесса обернулась, ее гости встали и тоже обратили взгляд в глубину ложи; и в образовавшемся проходе, с победоносной самоуверенностью и величием богини, но и с неожиданной виноватостью в глазах, — оттого что она так поздно приехала и всех всполошила во время спектакля, — закутанная в белизну муслина, появилась герцогиня Германтская. (...) Я чувствовал, что тут какая-то тайна, но был бессилён разгадать загадку обращенного на друзей улыбочивого ее взгляда, в голубом блеске которого, пока она отдавала во власть свою руку то тому, то другому, — если бы только я мог разложить его сквозь призму и подвергнуть анализу его кристаллическую структуру, — быть может, мне открылась бы сущность той неведомой жизни, какая в нем проступала в эти мгновения.

Ibid. — р. 115 (2:Гер:113–114) — Так было под Ульмом... (...) Ульм — наилучший вид окружения, и он будет воспроизведен не только потому, что это классический пример, источник вдохновения для полководцев, но и потому, что это нечто вроде необходимой формы (одной из необходимых — она не исключает выбора, разнообразия), как бы вид кристаллизации.

III (Т.Р.) — р. 992 (5:ОВ:317–318) — ...если за эти двадцать лет различные кружки и кланы распались и соединялись вновь, по мере того как к ним притягивались новые звезды, которым, впрочем, тоже суждено было отдалиться, затем появиться вновь, в душах людей тоже в свою очередь происходила кристаллизация, затем дробление, затем новая кристаллизация.
¹⁹ «...новое слово “кристаллизация”, предложенное мною с целью образно определить ту совокупность странных фантазий, которые представляются правдивыми и даже не подлежащими сомнению относительно любимого существа». — Стендаль. О любви / Пер. с фр. М. Левберг и П. Губера под ред. А.А. Смирнова // Стендаль. Полное собрание сочинений: В 15 т. Т. 4. М.: Правда, 1959. С. 359.

²⁰ III (Fug.) — р. 556 (5:Бег:182) — Жизнь, открывавшая мне мало-помалу постоянство наших потребностей, учила меня, что за неимением одного живого существа нужно довольствоваться другим, что то, чего я требовал от Альбертины, могла бы мне дать г-жа де Стермарья. И тем не менее во всем была Альбертина; между удовлетворением моей потребности в нежности и особенностями ее тела существовала тесная, нерасторжимая связь, и я не мог оторвать от желания нежности переплетение воспоминаний о теле Альбертины. Только она была способна дать

что со мной случится в жизни? Какой ад и какой бег ревности совершает герой нашего романа! Он постоянно ревнует, все время хочет установить, с кем и когда Альбертина ему изменяет; и самое страшное — когда он утверждает в мысли, что даже не с мужчинами она ему изменяет, а что еще хуже, Альбертина лесбиянка и изменяет ему с женщиной... И вот — этот inferнальный цикл разыскивания по всем точкам пространства и времени, где ты не можешь находиться, не можешь объять все эти точки, — и ты бежишь... Если помните, у Данте есть образ бегущих в аду, которые наказаны тем, что все время должны бежать сломя голову²¹. Есть такой внутренний бег, который страшнее изматывает нас, чем бег физический, внешний.

То, что измененное уже не поддается прямому изменению, бросает свет еще и на то, что я назвал тождеством с самим собой. Обратим внимание на преобразование эмпирического, то есть фактов (лицо Рашель, какова она реально, какие у нее глаза и так далее), — они преобразовались в луче воображения, в луче той точки, из которой смотрел Сен-Лу. Потом произошло отождествление его достоинства, высоких страстей, как он их понимает, с предметом, через который реализуются его высокие страсти, и тем самым реализуется достойное отношение к самому себе: к месту в мире и так далее, — это я назвал тождеством, или *identity*. Ясно, что это есть продукт изменений, что в измененном мы имеем дело с тем, что рождено не фактами. Ведь измененная Рашель не рождена ее физическими свойствами (физические свойства, как мы знаем, — просто плоский блин лица, который кубисты должны были вообще рисовать пустым). Значит, *не фактами* рождено.

Мы должны сформулировать следующий закон: в область того, что не рождено фактами, факты не проникают. Например, факт, что в доме свиданий Марсель видел Рашель, — этот факт не проникает в область просто потому, что эта область не рождена фактами. Хотя эта область накрывает факты, она совсем о другом. Любит-то Сен-Лу Рашель, но это есть факт, накрытый этой областью, а не факт сам по себе, — область не рождена фактами; не факты ее родили, и не факты ее убьют. Сколько хочешь говори Сен-Лу, какова «на самом деле» Рашель... Непроницаем. Значит, это — сингулярная точка индивидуального переживания, внутри которого Сен-Лу не только жив, а еще и реализовал себя в своем человеческом достоинстве, в высоких критериях, отождествился, и вот это, как я сказал, расцепить нельзя.

мне такое счастье. (...) Я уже не мог желать нежности, ²¹ Данте Алигьери. Ад, III, 19–69 // Данте Алигьери. Божественная комедия. Указ. изд. С. 18–19. не испытывая потребности в ней, не страдая от ее отсутствия.

Я тысячу раз имел случай убедиться в том, что сюда факты не проникают (вместо фактов можно сказать: рациональные аргументы — рациональные аргументы всегда ссылаются на факты) просто потому, что это не рождено фактами, а рождено другим психологическим процессом — тем процессом, который я назвал отождествлением с самим собой, со своим образом. Я должен жить в мире с самим собой и принимать в нем только то, что позволяет мне продолжать жить в мире с самим собой. Когда говоришь человеку, что дело обстоит так-то и так-то, и если он «купил» тождество с самим собой ценой невидения этого факта или непродумывания его, то он никогда его не воспримет; более того, он почувствует опасность в тебе как человеке, который хочет разрушить самое ценное для него, а именно — *identity* (тождество с самим собой); и он убьет тебя прежде, чем выслушает твои факты.

Это очень часто случается с так называемыми идеологиями, или мировоззрениями. Мировоззрения, или идеологии, чаще всего — область сращений человека с отношением к самому себе, в этом их сила, неразрушимость и убийственность по отношению ко всему, что нарушает это. Повторяю: тебя скорее зарежут, чем выслушают, что ты хочешь сказать, потому что для человека самая большая опасность — перестать быть в мире с самим собой, перестать уважать себя. Но если уважение «куплено» определенной ценой, то, по сформулированному нами закону, уважение потом реализуется через эту цену (цена реализует уважение). Или — то, из-за чего любишь, меняется местом с тем, что любишь: то, что любишь, становится условием того, из-за чего любишь. Скажем, Рашель становится условием доблести, а доблесть любишь, казалось бы, саму по себе.

С мировоззрениями так случается очень часто; мне как-то пришлось проводить занятия по философии образовательного характера с настоящими гаитянами, причем я формально исходил из того, что имею дело со сравнительно просвещенными людьми, потому что беседа шла по-французски и уже сам факт знания ими французского языка говорил об определенном минимуме просвещения и определенном минимуме наличия гибких структур мысли, которые вырабатываются просто из-за знания языка; если люди окончили французский лицей, значит, что-то должно быть. Когда я столкнулся с твердыми пунктами закостенения там, где пытался просто привести какие-то факты, рассуждения, расшатать их (прошу прощения, у меня мания такая — расшатывать, выбивать немножко шары из ячеек, в которых они стоят), натолкнулся на то, что на их глаза будто опустился какой-то занавес, я сначала не понял, в чем дело. Но потом я убедился, что дело ведь не в глупости и не в уме, а в том, что у гаитянцев была простейшая классовая схема

мира, в которой есть богатые и есть бедные, есть империалисты и есть рабочие и крестьяне. Это — схема, и их собственный умственный труд (довольно небольшой, поскольку схема очень проста и усваивается без больших усилий), затраченный на нее, таков, что он удовлетворил их по отношению к самим себе. Они стали носителями понимания мира, они поняли мир и поэтому никогда с этой схемой не расстанутся кроме как ценой полной личностной перестройки, а это очень трудное дело для человека. (Человек может прожить всю жизнь и никогда лично не перестроиться.) Они реализовали сцепление себя с уважением к самим себе, повторяю, без особого труда, — человек ленив, а мир сложен, нужно ломать голову, нужно постоянно заглядывать в себя, менять себя.

Наш роман, прустовский, — роман изменения себя, и в этом — героизм больного, несчастного автора. Пруст был глубоко болен и глубоко несчастен; мало того, что он был ненормален в формах своей любви, он был еще тяжело болен астмой. Как мы знаем, это самая уникальная болезнь, которая ближе всего стоит к ощущению смерти, — когда задыхаешься, реализуешь в жизни тысячу или несколько тысяч раз смерть, реальное переживание смерти. На пределе мужества Пруст проделывал с собой работу изменения, и его роман есть орган изменения себя и овладения своей реальной судьбой. А люди, о которых я говорю, на такой труд — поскольку человек ленив, за редкими исключениями, — идти не хотят. Всякий, кто внушит им мысль, что с ними что-то неладно и надо работать, будет врагом, которого надо убить, прежде чем выслушать. Мир умещен в их головах, в этом мире они занимают место людей, понимающих мир, и все очень просто: есть империалисты, есть богатые, потому что есть бедные, бедные есть, потому что есть богатые, и что сделать, чтобы не было бедных? — уничтожить богатых. Все — мир уложился, и в эту область факты и аргументы не войдут.

Вот, видите, что я сейчас сделал? — сформулировал закон неизменяемости (или трудноизменяемости) измененного, который действует в нашей психической и сознательной жизни. Более того, я привел мелочи, сквозь которые глаз (в данном случае философа) видит фигуры, и поэтому это уже не мелочи, а элементы довольно крупных фигур, которые занимают такие большие пространства и времена, что даже Гаити попало в наши рассуждения. Значит, где-то есть нечто, что в данный момент объединяет или разделяет нас с гаитянцем (разделять можно только объединенное, неразличное), и то, что происходит с ними (то, как они живут и как думают), имеет значение (если бы их, как китайцев, был миллиард, тогда бы мы в этом непосредственно убедились).

Резюмирую то, что сказал: мы имеем дело с тем, что у Пруста чаще всего называется впечатлением (слово, которое повторяется почти что на всех страницах романа), но впечатление, очевидно, какое-то особое, и оно совмещено с точкой, которую мы можем теперь назвать сингулярной точкой (я уже этот термин употреблял), то есть такой точкой, в которую, например, не проникают факты и в которую нельзя перенести знания, она непроницаема, несоединима. И здесь же у Пруста возникает тема множества миров... (...)